

Благодетель и убийца

Автор:

Полина Леоненко

Благодетель и убийца

Полина Сергеевна Леоненко

Лев Александрович Якубов – молодой московский хирург, честно и усердно трудится на благо медицины. Оправившись от потрясений войны, к тридцати годам он успел заслужить уважение коллег и доверие пациентов, встать на ноги и обрести заветный покой. Однако судьба раз за разом проверяет его на прочность. Георгий Гуськов, старый товарищ, ведомый семейными трудностями, сознательно решается на страшный шаг. А объявление в начале 1953 года «дела врачей» и еврейское происхождение и вовсе ставит под удар безопасность самого Якубова. Сможет ли он не утратить человечность и как повлияет на это встреча с юной Верой и загадочным Александром Коваленко? А главное – жизнь героя есть результат злого рока или осознанного выбора?

Полина Леоненко

Благодетель и убийца

Часть 1

Глава 1

Утомлённое солнце

Нежно с морем прощалось.

В этот час ты призналась,

Что нет любви.

Я не видел лица певца, наполовину скрытого тенью от большой потолочной балки. Вернее, был это совсем не певец – обычный посетитель, который в хмелю отважился развлечь старым романсом себя и свою компанию, сидевшую в дальнем углу помещения. Ее представляли такие, как и он, весёлые мужики. Они громко смеялись, и один из их пару раз присвистнул, за что сразу же получил замечание от пожилой женщины: «Советские граждане, а так похабно себя ведёте!». Что она могла забыть в подобном месте, оставалось для меня загадкой.

Я присмотрелся к ним повнимательнее. Одеты почти все были по штампу, настолько стандартно, что я с трудом узнал бы кого-то в толпе. У того, что хрипло тянул: «Мне немного взгрустнулось...», был полосатый однобортный пиджак, застёгнутый на все пуговицы, явно парадно выходной, но ужасно заношенный. На рукаве был виден кривой шов, скорее всего, сам зашивал, а на локтях ткань протерлась и была заметно светлее. Чёрные широкие штаны и пыльная кепка, съехавшаяся набок. Простой работяга, к тому же не самый аккуратный. Сидевшие за столиком мало от него отличались, за исключением одного здоровяка, того самого, что присвистывал. Рубаха его показалась мне странной и, лишь приглядевшись, я понял, что была это гимнастёрка со споротыми погонами. Когда он встал из-за стола и вышел на перекур, я заметил ещё и солдатские сапоги. Хотя война и закончилась семь лет назад, дефицит одежды никуда не делся, и перешивать форму приходилось многим. Среди своих товарищей он казался серьезнее всех, держался уверенно и глядел на них покровительственно.

Лица их светились наивным, почти детским счастьем, подогреваемым спиртным. Возможно, такая пятничная вылазка в прокуренный каба́к была для каждого глотком воздуха, стимулом снова проснуться в пять утра и батрачить на заводе за два тридцать в сутки.

Наконец, пробежавшись глазами по остальным посетителям, я увидел того, за кем пришёл. Голова его покоилась на столе, рядом стояла недопитая кружка пива и пустая рюмка, из которой резко тянуло спиртом. Видно, он дремал, но стоило мне слегка потормозить его, он замычал, весь сморщился и стал хвататься за голову. То был Георгий Гуськов – мой старый друг и коллега.

– Жора, – ответа не последовало, – Жора, вставай, уже ночь на дворе. Люда будет волноваться.

– М-м-м... сколь... врем..ни?

–Почти полночь.

– Лёва, ты меня... извини... сам пнмешь...

Пьяное тело наконец лениво потянулось, хрустя всем позвоночником, ахнуло и схватилось за поясницу, где давно уже развилась межпозвоночная грыжа. Он потёр большими ладонями красные глаза, щурясь на слишком яркий для него свет. Лишь после этого Жора посмотрел на меня более осмысленно и даже покорно, рассчитывая, что теперь им всецело руководить буду я. Я не стал спрашивать, почему он так набрался, потому что уже знал ответ: жена забеременела четвёртым. Заработная плата была у нас с ним одинаковой, только вот я кормил себя одного, а он один поднимал ещё и троих детей. Работала и Люда, его жена, но достатка семья не испытывала.

Выводя Жору из кабака, напоследок я ещё раз бросил беглый взгляд на помещение. Пока мы плелись ко мне домой, он то и дело вздыхал и чуть ли не плакал, так уж на него действовало спиртное:

– Как же так, Лёвушка? Я ж с ней толком и не виделся... месяц назад только, да думал, обойдётся... как же теперь, а, Лёвушка?

– Ничего, Жора, ничего, – машинально отвечал я, лишь бы не идти в тишине.

С Гуськовым мы жили всего в квартале друг от друга почти на самой окраине Москвы. Практически одновременно несколько лет назад мы получили в собственность по комнате в коммунальной квартире, только у него на пару квадратных метров было больше. Но и того семье Гуськовых было мало – они безуспешно пытались ходатайствовать на получение жилья более просторного.

Я в своих двенадцати квадратах уместил все необходимое: кровать приставил к стене, изголовьем к окну, чтобы занимала поменьше места – на неё и повалился Гоша; сервант из сосны, доставшийся мне ещё от покойной матери, который я почти целиком заставил книгами по медицине, и только на одной полке ютилась вся моя посуда; письменный стол из той же сосны стоял у противоположной от кровати стены, рядом ещё стеллаж с книгами, а в дальнем углу комнаты шкаф, круглый обеденный стол с деревянным стулом и старым раскладным креслом. Из него то и дело вылетали пружины, поэтому гостей я туда не усаживал. Большое окно я совсем недавно закрыл чем-то попримитивнее простыни – все не мог сначала накопить, а потом раздобыть занавески из тюли.

Убедившись, что Жора уснул, я вышел в коридор и в темноте сразу напоролся на мокрое белье, растянувшееся на веревке. Пару тряпок упало, и, чертыхнувшись, я кое-как вернул их обратно. Затем подошёл к телефону и набрал Люду. Гуськов оставался у меня не впервой, но от моего звонка, уверен, ей было покойнее. Сразу после этого я вернулся к себе и запер дверь на ключ.

Октябрь подходил концу, и, чем ближе был тот самый день, тем хуже я стал спать. Вот и сегодня я снова видел этот же сон. Детские мои воспоминания, искаженные страхом и подправленные временем, стали все чаще возвращаться в виде мрачных образов. Но в этот раз все предстало передо мной так отчётливо, будто я снова погрузился в ту ночь, когда забирали отца.

И все, как на ладони: вот почти у самого входа в нашу большую комнату с резным потолком стоит моя кровать, где я дремлю, вот в кресле сидит отец, дочитывая красную книгу в твёрдом переплете, мать уже спит. Вот в дверь громко стучат, я тут же дергаюсь, а он, оцепенев, неотрывно смотрит в темноту коридора, затем почти что машинально идёт к шкафу и достаёт с верхней полки кожаный чемодан. Мама отпирает, и в дверь вваливаются двое грузных дядек в форме. У того, что помоложе, взгляд почти что сочувствующий, он спокоен, а мягким голосом он просит собрать все необходимые вещи. Другой же суровый, и стоило мне окликнуть маму, приказал замолчать. А она помогает складывать белье в чемодан и как будто совсем ничего не замечает, мечется из угла в угол. Напоследок отец треплет мне волосы и целует по голове. Стоит двери за ними захлопнуться, как мама утыкается подушку, пытаюсь успокоить проходящие по всему телу немые судороги, вызванные рыданием. Мы сидим в абсолютной тишине. Затем она поднимает голову, и в тени одинокого прикроватного светильника ее лицо выглядит очень старым. Когда она поняла, что ее сын неотрывно смотрел на неё все это время, то зачем-то сказала: «Не беспокойся, Лейб, отца забрали в командировку», хотя знала, что даже я в это не поверю. Это было в ночь с четвёртого на пятое ноября 1937 года. Скоро мне должно было исполниться шестнадцать лет. Через полгода я поступил в медицинский университет, и в тот же день наши догадки о том, что отец был расстрелян, окончательно подтвердились.

Открыл я глаза оттого, что храп Жоры напомнил мне разрыв снаряда, а еще стало невыносимо холодно. Сперва даже удивился, когда в темноте разглядел, что передо мной не тот же резной потолок, а потрескавшаяся штукатурка. В такие моменты приходилось напоминать себе, что наша квартира на Пироговке могла оживать теперь только в моих воспоминаниях. И, если бы мне предоставили выбор, вернулся бы я туда? Туда, в беззаботное и наивное детство, где мысли мои могли стеснять лишь границы фантазии, где комнату наполнял нежный цветочный аромат маминых духов, где не было места беспокойству о том, что завтра есть и на что жить. Ответа я не знал.

Была глубокая непроглядная ночь, сейчас светало только после шести часов. Я пошарил в темноте и нащупал выключатель от лампы, которая стояла рядом. Ее тусклого света хватило только на то, чтобы разглядеть время на циферблате будильника: «3:45». Вставать через два с половиной часа. Оказалось, что во сне

я скинул одеяло на пол и успел продрогнуть так, что оставалось спастись только кружкой горячего чая. Стараясь не греметь и громко не топать, я направился на кухню, чтобы вскипятить воду.

Не считая ванной, это была, пожалуй, самая холодная комната. Прямо по стене неприкрытыми шли трубы, по которым с перебоями подавалась горячая вода. Кутаясь в шерстяную кофту, я зажег керосинку. Моя чувствительность к холоду тут же дала о себе знать – от нескольких соприкосновений с посудой и столешницей мои руки заledenели. Пока грелась вода, я неподвижно стоял у плиты, водя ладонями над конфоркой, и прислушивался к тому, как за окном свистел ветер и качал массивные ветви голых деревьев, а где-то вдали раздавался собачий лай. Зима обещала быть холодной. Ровно, как и в тот год.

Чаяпитие я кончил уже у себя в комнате, а после сразу уснул.

Глава 2

Мои рабочие будни врача-хирурга протекали вполне рутинно, но каждый из них приносил что-то новое. Приём начинался с восьми тридцати, хотя обычно я приезжал на час раньше. Уже к восьми утра к моему кабинету подтягивались люди, но за дверью голосов совсем не было слышно. Те, кому охота была поболтать в очереди, приходили ближе к обеду, но эти же в столь ранний час могли быть обеспокоены только своей болезнью и ожидать спасения. Вскоре пришла медсестра, чтобы отчитаться о ночном дежурстве.

– У Селиванова под утро температура поднялась, но уже сбили, у Мороза ещё кровит рана – вам следует посмотреть. Сидорчук совсем без аппетита есть, все вас требует.

– Зачем требует?

– Капризничает. Говорит, только с дозволения Льва Александровича в пищу будет употреблять то, что ей дают. Сколько ни упрашивали ее – ни в какую.

– Что же ты будешь делать... остальные?

– Без происшествий, у всех динамика положительная. Думаю, Аносова и Кривощекова можно готовить к выписке. Ещё сегодня в двенадцать у вас диафрагмальная грыжа с Вороновым.

– Спасибо, Таня, я помню. Можешь идти.

Жора являлся только к девяти. Несмотря на неоднократные предупреждения, полноценного выговора ему так и не объявляли. Возможно, потому, что по натуре он был человеком, который всегда со всеми мог договориться. По его виду никогда нельзя было сказать, что на работу он приходил с удовольствием. Работал Гуськов, как и я, хирургом. Он был старше меня чуть больше, чем на пятнадцать лет, и порой эта разница слишком явно демонстрировала то, как утомила его жизнь. К сорока шести годам он давно уже обзавёлся семьей (старшая дочь вот-вот должна была закончить школу и поступить в институт), мелкими долгами, проблемами со здоровьем и грузной усталостью. При всем желании я не смог бы назвать Гуськова добросовестным врачом – поверхностный сбор анамнеза, невнимательность при осмотре, небрежность в операциях не играли в его пользу, и было все это закоренелой привычкой, а не следствием усталости. Но люди продолжали к нему идти, а, значит, без работы Жора не сидел. Необходимость кормить семью вытеснила из его сознания бескорыстное желание помогать, и только пятничный вечер за рюмкой водки помогал ему ненадолго забыться. Порой мне было жаль его.

Вот и сегодня он снова пришёл с виду бесконечно уставший, молча надел халат, уселся за стол и тоскливо подпер подбородок кулаком.

– Что-то ты совсем квёлый.

– А каким мне ещё быть... я эти дни, думаешь, чем занимался?

– Боюсь предположить.

– Я-то... обождите! Зайдите через десять минут! Не видите, что у нас совещание? – гаркнул он, когда в кабинет постучалась пациентка, – Я, Лёва, все думал, как быть теперь. Людка даже будто обрадовалась, мол, ещё один ребёнок, дом полная чаша. А я считаю, все это ерунда. На какие деньги кормить его, она не думает. Вот Фросе скоро поступать, сорванцы мои вечно что-то порвут да разобьют, а тут ещё один! Уже думаю на аборт ее повести.

– Ты горячку не пори. Сам должен знать, как их сейчас делают. Наковыряют ей бабки там такое, что ещё перитонит будет. Неужели готов такому риску подвергнуть?

– Да ты монстра из меня не делай. Что я, нелюдь совсем? Думаешь, мне не жалко? Только вот я мыслю рационально, без этих женских слез. Надо будет растолковать все ещё раз, а то ведь она меня совсем не слушает, специально как будто! Я про серьёзные вещи ей, а она о мелочи какой-то: куда ставить кровать, где распашонки достать, где крестить.

– Поставь себя на ее место. Думаю, она обеспокоена не меньше тебя, просто так пытается отвлечься.

В дверь снова постучали. Из-за неё показалось робкое пожилое лицо, глазами искавшее Гуськова.

– Георгий Андреевич, я к вам. Можно?

– Проходите, садитесь.

Женщине, которая медленно вошла в кабинет, я не дал бы и шестидесяти лет. Она была хорошо одета и ухожена, шла неуверенно, но прямо, хотя и заметно было, что давалось ей это с трудом. Но из-за белой дымки пудры проглядывал нездоровый желтоватый цвет лица. Хлопчатобумажная блузка с длинным рукавом обнажала только расчесанные докрасна кисти. Казалось, женщина

вдоволь измучилась, прежде чем наконец прийти к врачу. На стул она села с облегчением, предплечьем подпирая правый бок.

– Меня терапевт направил, сказала, должен хирург посмотреть. Я спросила, можно ли обойтись без этого, а она, знаете, настояла. Ещё сказала, что анализы плохие. Напугалась я вчера вечером – желудок как прихватил... а, может, и не желудок, кто его знает, – она говорила все время, пока шла по кабинету и отдавала Гуськову свои документы. Он совсем ее не слушал, но машинально кивал, ведь старушка, ища поддержки, не сводила с него глаз.

– Ложитесь на кушетку и приподнимите блузку, – сказал Жора, но та все медлила и смущенно оборачивалась на меня, – уважаемая... как вас там по паспорту... Валентина Егоровна, женщине вашего возраста не стоит смущаться, тем более перед врачом. Не задерживайте приём.

Однако расставить ширму все же пришлось, хоть и сделал он это с заметным неудовольствием. Мне было жаль эту женщину. Напуганная неведением, она, как ребёнок, была готова слепо довериться Гуськову, стерпев все, что могло показаться пугающим и неверным. Оторвавшись от истории болезни, в какой-то момент я поймал на себе ее взгляд и даже растерялся. Затем медленно опустил веки, надеясь так заверить ее, что она в руках специалистов, а не гаражных бракоделов. Задав ещё несколько вопросов, Жора торжественно объявил:

– Что же, Вера Сергеевна, тут у вас холецистит, причём запущенный. Срочно оперироваться. Госпитализироваться вам надо сегодня-завтра, не позже. Иначе ждите беды.

– А вы уверены...? Может, мне лекарств каких-то принять нужно, чтобы без операции...

– Вы к специалисту пришли или к кому? Если я вот так каждому буду разъяснять, что да почему, скольких, думаете, успею вылечить? Госпитализация и без лишних разговоров. Я вам выпишу рекомендации для подготовки к операции.

Не успела она уйти, как он спешно подошёл к окну и открыл форточку. В помещение дунул морозный ветер, а я услышал лязг крышки от зажигалки Гуськова.

– Я тебе сколько раз говорил – хочешь курить, иди на улицу. Не заванивай кабинет. Знаешь, сколько в сутки астматиков здесь бывает? Кашель потом на все отделение стоит.

– И без тебя знаю.

– Георгий Андреевич, – прибежала запыхавшаяся Татьяна, – где же вы ходите? Там Авдеева уже подали, вас только ждут!

– Падла... что ни утро, то дурдом. А напомнить не могла? Через минуту буду.

– Лев Александрович, а вас Сидордук ждёт.

Глава 3

Моя квартира имела четыре жилые комнаты и, по словам самой Евдоксии Ардалионовны Фурман, которая жила здесь вот уже третий десяток, принадлежала она семье каких-то видных людей: не то писателей, не то актеров. Они покинули Россию сразу после октября семнадцатого и, возможно, сейчас томно тосковали по родине где-то на юге Франции, в то время как их дети и слова не произносили по-русски.

Евдоксия Ардалионовна была препротивной высохшей старухой, отчего и одинокой. Сама она говорила, что в этом году ей перевалило за семьдесят, что застала она и царя-батюшку, и Ленина и что уж получше других знает, как жить на этом свете. Каждое утро в семь часов, будь то будний день или выходной, она открывала дверь в свою комнату и громко включала радио, интересуясь прежде всего тем, какими новостями порадует сегодня власть. К этому белому шуму я приспособился быстро и уже давно перестал замечать. Занимала она самую

большую комнату, но на правах старожила распоряжалась и укладом жизни других. Никто кроме ее любимого радио не смел шуметь после семи вечера, а еще она грозно блюла, чтобы у каждого неизменно висел портрет Сталина. Сколько крови она мне за него выпила – даже донести грозилась! Кончилось тем, что портрет я оставил, но развернул лицом к стенке, а ей раз и навсегда запретил входить к себе, почему и запирал дверь на ключ.

Через стенку от Фурманши жил мой ровесник Максим Никифорович Поплавский – та ещё хитрая морда. Комнату он снимал все у той же старухи. Из всего, что я о нем знал, правдой было лишь то, что в Москву приехал он издалека (откуда точно, не говорил). По вечерам на кухне он устраивал целые спектакли с рассказами о том, где ему довелось побывать, с какими именитыми людьми встретиться и в какие передряги попасть. Поплавский был дорогим любимцем Евдоксии Ардалионовны, и она одна увлекалась его байками. А после они всегда вместе слушали радио и горячо обсуждали политику, но Поплавский больше лебезил перед ней, чем говорил что-то путное.

В самой же маленькой комнате (видно, в ней когда-то обитала прислуга) жил Марк Анатольевич Юрский. Жил, прямо скажем, на книгах: аккуратными стопками лежали они на полках книжных стеллажей, ютились под кроватью, и даже в шкафу занимали половину места. Я до сих пор удивлялся, как ему удалось сохранить их за время войны. Был он чуть младше Евдоксии Ардалионовны, и, слава Богу, этим кончались их сходства. Мягкий, гибкий характер и простота души делали ему честь, и я сразу потянулся к Юрскому, как к наставнику. Присесть у него было совсем негде, и часто мы допоздна засиживались у меня. Он преподавал философию в МГУ на должности профессора, и слушать его было одно удовольствие. После кровати и книг третьей вещью в комнате у него стоял патефон. Когда ни Фурман, ни Поплавского не было дома, он заводил свои любимые романсы, а после тихо напевал их себе под нос.

В долгожданное воскресное утро я встал позже обычного и чуть не пропустил очередь на утренние процедуры. Вид душевая комната имела удручающий: потрескавшаяся темно-зелёная краска, ржавчина и местами вырванная плитка – никто не брался это ремонтировать. Во-первых, на такую роскошь ни у кого не

хватило бы денег, а, во-вторых, над «ничейным» пространством никто трястись не собирался. Да и человек быстро привыкает даже к такому.

– Максим Никифорович, голубчик, пропустите меня с кастрюлей... а вы, Марк Анатольевич, убрали бы свой котелок! Да и что вы тут расселись посреди комнаты – ни пройти ни проехать! О, Лев Александрович, вы тут совсем некстати... – было первым, что я услышал, войдя на кухню.

– Эх, привольно мы живем –

Как в гробах покойники:

Мы с женой в комоде спим,

Теща в рукомойнике, – с усмешкой проговорил Юрский.

– А вы не зубоскальте, Марк Анатольевич, не те времена.

– Что же мне ещё делать, если я в своём же доме себе каши не могу сварить? – ответа он не получил, – Лев, я предлагаю позавтракать у вас, сейчас только котелок с плиты сниму.

– Где ж это видано, чтобы советский гражданин отделялся от общества? – нарочно встрял Поплавский.

– Позвольте, милейший, я освобождаю площадь для кулинарных шедевров Евдоксии Ардалионовны, – та ответить не могла, поскольку наполовину вывалила свое дряхлое тело из окна, доставая из авоськи овощи, – а из вас порядочный советский гражданин, как из пластилина пуля.

– Я бы попросил!

– Пойдёмте, Лев.

Радио уже вовсю гудело, и порой мы невольно вслушивались в слова речи Сталина на одном из последних съездов партии: «Было бы ошибочно думать, что наша партия, ставшая могущественной силой, не нуждается больше в поддержке – это неверно. Наша партия и наша страна всегда нуждались и будут нуждаться в доверии, в сочувствии и поддержке братских народов за рубежом. Особенность этой поддержки состоит в том, что всякая поддержка миролюбивых стремлений нашей партии со стороны любой братской партии означает вместе с тем поддержку своего собственного народа в его борьбе за сохранение мира...»

Видимо, я невольно состроил недовольную гримасу и Юрский это заметил.

– Хотите, я прикрою дверь?

– Да, пожалуй.

Сперва мы ели в тишине и только тиканье часов заполняло эту паузу. Все это время я пытался уgomонить вспыхнувшие эмоции.

– Вы явно хотите побеседовать об этом?

– Возможно, но собеседник из меня, как из первокурсника Шопенгауэр. Не могу я объективно судить, нет. Внутри сейчас все так и клокочет, стоит только хорошенько окунуться в воспоминания – не хочу вываливать это на вас.

– Я понимаю, – и он правда понимал. Юрский был одним из немногих, кому я доверил подробности своей биографии, равно, как и он мне своей, – но в этом и ваша ошибка. Этим «хорошенько окунуться» вы только хуже делаете. Чем чаще, уж простите мне простоту языка, отрывать корку на ране, тем глубже и ярче шрам.

– Я всегда думал, что глубина шрама зависит от остроты ножа.

– С этим не поспоришь. Но, в теории, верный подход сделает след едва заметным.

– Здорово было бы посмотреть на того, кто нашёл этот верный подход.

Юрский отпил кофе и более ничего не говорил.

– Хотел бы я быть похожим на вас, Марк Анатольевич, – я стыдливо упёрся взглядом в тарелку, водя ложкой по каше – не мог заставить себя посмотреть в добрые карие глаза Юрского. Им всегда хотелось что-то рассказать, а они, в свою очередь, внимательно слушали. Перед этим человеком я часто ощущал себя несмышлёным школьником, но чувствовал, что он не будет насмехаться надо мной за это.

– Порой поражаюсь тому, как спокойно вы принимаете то, что происходит вокруг нас. Что это – характер, опыт или что-то другое?

– Мой дорогой, – засмеялся он, – если бы мы так легко могли найти ответы на свои вопросы, мир бы свалился в хаос. Многие люди, чья жизнь основана на самых сложноустроенных и хитросплетенных убеждениях, открывая очевидные истины, просто не могут уложить их в своей голове. Представьте только – вы всю жизнь ходите на руках, пока я не скажу вам, что на ногах ходить гораздо удобнее. Я не смогу ответить вам. Пускай будет все вместе. Да и... не желайте быть похожим на человека, которого нет, не цепляйтесь за отдельные черты. Ваше восприятие меня есть не что иное, как образ, над которым поколдовали органы чувств и сознание. Даже я не знаю, каков на самом деле. Вы сами понимаете... после случившегося мне непросто было прийти к равновесию. Но я всегда говорю себе: «Все пройдет, и это тоже».

– Прошло?

– Пока нет. Мои шрамы дошли до кости. Но вы ведь не станете спорить, что глупо обижаться на судьбу, на время, на обстоятельства, словом, на то, что не можешь изменить? – я отрицательно помотал головой, – вы ешьте, пока не остыло. Да и я побегу, через полтора часа уже должен в университете быть.

Спасибо за хорошую компанию.

– Взаимно.

Напоследок, когда за Юрским закрылась дверь, я услышал басистый голос Поплавского: «А после мне звонит сама Лиля Юрьевна и спрашивает, не изволят ли Максим Никифорович – то есть я – прийти на поминки Маяковского. Я, конечно, изволил. Теперь на короткой ноге и с Брик, правда, она теперь Катанянша, и с Пастернаком, и даже Ахматовой руку целовал!»

Глава 4

Прошла ещё неделя, и наступили выходные. Я не имел ни семьи, ни детей и мог позволить себе работать по субботам на полставки терапевтом. Мне приходилось ездить по домам, а иногда добраться куда-то было настоящим приключением – особенно теперь, когда выпал снег. Но это нисколько не пугало меня. Во-первых, я ещё плотнее знакомился с городом, а во-вторых, грела мысль, что лишними деньги никогда не будут, особенно, если живешь от получки до получки.

Сегодня я подменял приболевшего терапевта, и ехать пришлось в самый центр Москвы. Конец осени и начало зимы у врачей за глаза назывались «сезонным» временем, когда всех подкашивали грипп и простуда. Последним моим пунктом назначения стал дом на Котельнической набережной. Он стоял немного позади той знаменитой громадины, проект которой задумали ещё в моем юношестве и все никак не могли закончить: сначала началась война, а после нее в приоритете были совсем иные вещи. Но строительство вновь сдвинулось с мертвой точки, и даже каторжные ГУЛАГа приложили к нему руку – три года назад по этому адресу сформировали лагерное отделение. Не зная ничего о людях, которые меня вызвали, я лишь предположил, что жили они очень недурно хотя бы потому, что по утрам могли любоваться Москва-рекой, а не серыми подворотнями и грязными улицами.

Я поднялся на четвёртый этаж, позвонил, и почти сразу дверь мне открыла высокая худощавая девушка. Первым в глаза мне бросилось кирпичного цвета шерстяное платье – все то время, пока его хозяйка двигалась, длинная юбка жила отдельной жизнью.

– Добрый день, а мы вас ждали, проходите.

– Прошу прощения за задержку, сегодня с транспортом какая-то мистика творится.

Я почувствовал, что девушка чересчур пристально смотрела на меня, и даже подумал, что где-то ненароком вляпался в грязь и не заметил.

– Погодите... да это же вы! – она широко распахнула свои чёрные, как смоль, лисьи глаза и затем широко мне улыбнулась, – вот уж не думала, что вновь встретим вас. Вы меня не узнали?

– Честно говоря, нет, – я застыл в недоумении, пока незнакомка закрывала за мной дверь, но про себя уже догадывался, когда мог видеть ее лицо.

– Я Надия... то есть Надя, Байракова Надя. Вы меня наблюдали давно ещё, в сорок пятом аппендицит вырезали. Только вот, простите, отчества вашего не вспомню.

Меня зовут Лев Александрович.

Не сразу, но в моей голове стали всплывать размытые образы прошлых лет. Вспомнилась и сама девушка, и радушный отец, и квартира с высокими потолками и со вкусом подобранной мебелью. Но все это было очень далеко и случилось будто совсем не со мной, а в забытой книге или фильме. По долгу профессии, а, может, просто по натуре собственной, я долго не держал в памяти чужих лиц. Имена или же фамилии, как в этот раз «Байракова», с большей вероятностью запускали в моем мозге цепочку воспоминаний. Но куда лучше

запоминались неординарные случаи. Однажды ко мне пришёл мужчина, проходивший с прободной язвой желудка три дня, но вместо того, чтобы орать от боли, он лишь пожаловался на недомогание.

Словом, не стоило удивляться, что я не узнал Надию – за прошедшие годы она, разумеется, сильно повзрослела, и от подростка, которому я когда-то делал одну из первых своих операций, не осталось и следа. Детская припухлость ушла, но черты лица ее остались мягкими несмотря на худобу. Смотрела она внимательно и вкрадчиво. Пока девушка молчала, то казалась очень сдержанной, но, стоило ей заговорить, как живость преображала все лицо. Она любезно помогла повесить на вешалку мое прохудившееся пальто, которое потяжелело от снега, и дождалась, пока я приведу себя в порядок. В каждом ее жесте ощущалась сила, выкованная в нелёгкой борьбе с самой жизнью.

– Может, желаете чай или кофе?

– Обойдусь. Где пациент?

– Вернее будет сказать «пациентка» – это наша мама. Но, видите ли, она в последние годы у нас стала таким ипохондриком, просто ужас какой-то! Ей все время кажется, что у неё то приступ аппендицита, то гипертонический криз, то ещё что выдумает. Я бы лучше ей кого-то по душевному нездоровью вызвала, слишком нервная стала, – все это время она энергично жестикулировала своими худыми длинными руками.

– А что могло так повлиять на ее состояние?

– Дело в том, что три года назад умер отец... – ее лицо почти не поменялось, и даже голос не дрогнул, но нетрудно было догадаться, чего ей это стоило, – умер скоропостижно, от инфаркта. Это ее подкосило. Она у нас всегда была живчик, да и сейчас анализы отличные, но уже ничему не верит.

– Вот оно как.

– Вы, может, предложите ей обследоваться ещё раз, приём назначьте. Пусть хоть как-то успокоится.

– Для начала я осмотрю ее, проведите меня.

Глава семейства встретила меня в спальне. Возлежавшая на подушках в домашнем халате, прикрыв веки, она упорно массировала себе виски и смахивала скорее на египетскую царицу. Едва ее увидев, имя «Элла Ивановна» я вспомнил без всяких затруднений. Именно с ней в своё время велись все обсуждения о лечении Надии, да и женщина она была очень яркая – с юных лет блистала на сцене Чеховского театра. Когда дочь вошла, она даже бровью не повела.

– Надия, где же ты ходишь? Неужели в собственном доме уже нельзя дожидаться помощи?!

– Мама, пришёл врач. Это очень хороший человек, Лев Александрович Якубов, ты должна его помнить.

Элла Ивановна великодушно приподнялась и открыла глаза. Светло-серые, такой же формы, как у Надии, они смотрели за спину дочери, где стоял я – новый свидетель ее страданий.

– Надо же, как тесен мир. Приятно вновь вас встретить – все-таки когда-то вы спасли мою старшую от перитонита и в глазах нашей семьи остались человеком порядочным.

– Взаимно, Элла Ивановна. И в этот раз я здесь, чтобы помочь.

– Боюсь, теперь мне уже ничто не поможет, – траурно заявила она, – с тех пор, как не стало моего Виктора Васильевича, мир совсем опустел.

Мне не было, что ответить, да и подобных разговоров с пациентами я никогда не развивал, и сразу попросил дочь выйти, по-простому назвав ее: «Надей», за что сразу получил выговор.

– Я вынуждена просить вас, молодой человек, уважительнее относиться к чужому имени! Ещё сама Марина Ивановна Цветаева говорила, что можно шутить с человеком, но с именем... ни за что.

– Мама, прошу тебя...

– Не спорь! Ты была назвала так в честь моей матери, своей бабушки, а она была уроженкой Франции...

– Элла Ивановна, я прошу прощения, и забудем об этой досаде. Все же я попрошу вас дать себя осмотреть.

Тогда-то я и понял, как выглядит «самый больной в мире человек». Байракова жаловалась на все и одновременно ни на что, вздыхая при каждом прикосновении стетоскопа. Когда я попросил ее оголить грудь, чтобы послушать, она демонстративно смутилась и вдруг заявила, что воспитание подобного ей не позволяет, но вскоре уступила. Не успел я завершить процедуру, как она схватила с прикроватного столика рамку с фото и, как в первый раз, водить по ней пальцем.

– Вы знаете, – по ее красивому лицу, тронутому паутинкой морщин, расплзлась улыбка, – почти каждый день на эту карточку смотрю, и будто вовсе не я стою с Виктором, а кто-то другой. Какой он тут статный, в форме, – я всегда любила эту форму, – медали все так и блестят. Генерал-лейтенант! Да и я совсем счастливая. А на эту взгляните, – женщина потянулась за соседней фотографией, видимо, свежей, где она стояла с дочерями, – Нади и Верочка тогда еле-еле уговорили меня на съёмку. Даже сейчас не вспомню, почему выбрала это платье – оно же меня полнит! А что с лицом, страшно глядеть, бледная поганка и то свежее! Вы сами посмотрите!

– Уверен, здесь вы выглядите замечательно, как и везде.

– Лысiec! Я всегда говорила, что мужчины – обольстители не хуже женщин, однако упорно это скрывают. Иначе откуда бы взялось утверждение, что женщины любят ушами? Кстати, взгляните, вы не узнаете Верочку?

Верочка, как неустанно называла ее мать и от чего я мысленно каждый раз кривился, на фотографии держалась так же строго, как и сестра. Но если у Надии строгость эту деликатно прикрывала живость натуры, младшая Вера, казалось, из неё была соткана: плотно сомкнутые губы, строгая белая блуза и длинная юбка. А главное – глаза. Карие, как и у сестры, но светлее. Их я нашёл слишком задумчивыми и даже уставшими. Из общей картины выбивалась только коротко остриженная пышная копна кудрявых волос. Я удивился, как же Элла Ивановна не заставила ее привести их в порядок перед съёмкой. Вера покровительственно держала руку на плече матери, пока вторая находилась где-то за спиной. В какой-то момент я подумал, что ее – не ребёнка, а взрослую девушку – мог где-то видеть.

– Надия, конечно, у меня молодец, одета ладненько – все, как надо. Платьице подобрала, волосы непослушные уложила ловко. А вот Вера... сколько ни боролась с ней, только себе дороже выходит. Говорит, мол, не нужны эти лишние заботы. А я вам, Лев Александрович, скажу, что порой в обществе так появляться просто неприлично! Это она в отца пошла: и характером, и волосами.

Вскоре осмотр был окончен. Видно, я оказался не лучшим слушателем, и Элла Ивановна быстро потеряла ко мне интерес, не сомневаясь, что догадливость позволит мне разговаривать далее с ее дочерью.

– То есть вы хотите сказать, что она здорова? – спросила Надия, когда за мной закрылась дверь в спальню Эллы Ивановны.

– Я не вижу поводов для беспокойств в плане физическом – она ещё нас с вами переживет. Но утрата супруга слишком больно по ней ударила, поэтому эта тревога и прочее не взялись из ниоткуда. Вам может казаться, что она слишком

раздражительна и требовательна, но, на самом деле, она до смерти напугана. Будьте к ней снисходительнее. Почаще выводите на свежий воздух, займите чем-то. И главное – беседуйте, дайте выговориться. Пусть не вам, но, возможно, у неё есть старые друзья, коллеги. Думаю, вы меня понимаете. Я выписал направление на сдачу анализов и осмотр у кардиолога, чтобы другой специалист мог ее успокоить.

– Спасибо вам, Лев Александрович, – она взяла у меня из рук бумаги, – вы, пожалуйста, подождите секунду, присядьте. Я вас сильно не задержу.

Я остался стоять в широкой светлой комнате, которая служила и гостиной, и столовой. Кресло, на которое указала Надия, казалось слишком чистым и неприступным, чтобы на него садиться. Да и в целом в этой квартире я чувствовал себя, как в музее, ведь в одной только столовой мебели было больше, чем у того же Марка Анатольевича на всей его жилплощади. Оставалось только порадоваться за Байраковых.

Из окна, прикрытого золотистыми шторами, виднелись очертания Москва-реки. На улице стало стремительно темнеть, разыгралась непогода, но в тот момент я не хотел думать о том, каких усилий мне будет стоить добраться домой. Я прошёлся по комнате взад-вперёд и старался не наступать на такого же, как и шторы, золотистого цвета ковёр. Поглазел на фарфоровые статуэтки, выставленные в серванте, потом на своё расплывчатое отражение в телевизоре «Рекорд» и заметил пианино. Не успела мне на ум прийти осознанная мысль, пальцы мои уже неумело стали перебирать клавиши.

Вошедшая Надия с интересом за мной наблюдала.

– Вы играете?

– Прошу прощения... не удержался. Вовсе не играю, да и не умею, но когда-то очень даже мечтал. А вы?

– Умею немного, но позабыла почти сразу, как кончила занятия. Вера тоже играет, но делает это куда лучше, как говорят, с душой. Мама всегда была помешана на том, чтобы мы развивались духовно, даже если не особо этого хотели.

В руках она держала картонный пакет, который тут же попыталась всучить мне, правда, безуспешно. В прихожей, когда я был одет, это повторилось вновь.

– Надя, оставьте это.

– Пожалуйста, зовите меня просто Надя. Так приятнее слуху. А это будьте добры взять, – я все же разжал пальцы, чтобы зацепиться ими за ручки пакета, – вы ведь так помогли нам. Не отказывайте в желании вас поблагодарить.

Когда одной ногой я уже стоял в подъезде, она вдруг добавила:

– Пожалуйста, не отказывайтесь мечтать. В крайнем случае заглядывайте к нам, мы вас научим.

– Благодарю, я тронут.

Домой я добрался к ночи, продрогнув до костей. Когда я вскрыл содержимое пакета, там оказались шоколадные конфеты и небольшой свёрток с рублями, которые мне сперва было стыдно перед самим собой пересчитывать. Но все же я напомнил себе, что не отобрал ничью работу, никому не причинил зла, да ещё и теперь идея о покупке нового зимнего пальто стала реальнее. Перед сном я выпил чай в одной конфетой, и охватившее меня чувство гадливости к себе вскоре поухло.

На следующий день всех разбудил телефонный звонок. Входящими вызовами у нас всегда заведовала Евдоксия Ардалионовна, даже если точно знала, что звонят не ей. Вот и сейчас она нарочито громко ответила и затем позвала меня так, что в Поплавский на кухне подавился чаем и закашлялся.

– Лев Александрович, ваш друг вызывает! Ох, да вы не вставали ещё! – воскликнула она, хотя на часах не было и восьми утра.

– Евдоксия Ардалионовна, кажется, вас уже просили не развешивать свои огромные платки в коридоре, – я стянул с лица мокрую ткань, которая послужила мне вместо холодного умывания, и с большим трудом сдержался, чтобы не обругать ее.

– А коль уж вам нечего стирать, так не возмущайтесь, голубчик! Своими двумя рубашками и одними штанами хоть всю квартиру завесьте – я вам слова не скажу. Да и постыдились бы на людях показываться в неглиже.

– Учту это, когда захочу в неглиже зайти к вам, – я демонстративно поправил воротник ночной рубашки. К одному уху я прислонил телефонную трубку, а другим напоследок услышал ворчливое: «Хам». Звонил Жора.

– Доброго утра всем спящим! Я как знал, что ты любишь дрыхнуть по воскресеньям!

– Поэтому и звонить решил спозаранку? Ближе к делу – ты поднял меня с кровати, и я не в настроении.

– Не хочешь заглянуть к нам сегодня? Дети сейчас гостят у Людкиных родителей, вернутся нескоро.

– Во сколько?

– Я зайду за тобой после обеда.

– Хорошо, буду.

«Вот баламут, – подумал я про себя, – после обеда и пригласил бы».

Возвращаться в кровать уже не хотелось, да и не было смысла – без сонной неги я отчётливо слышал, как через стенку на кухне гремела посуда и какую новую байку травил Поплавский. Мне ничего не оставалось, кроме как привести себя в порядок.

Проходя мимо комнаты Юрского, я заметил, что та ещё была заперта, хотя Марк Анатольевич порой вставал и раньше Фурманши. Когда ответа на мой стук не поступило, я не придал тому значения – видимо, спал.

– Евдоксия Ардалионовна, давайте подолью вам, – с этими словами Максим Никифорович взял маленькую керамическую чашку так бережно, словно она была из хрусталя.

– Спасибо, дорогой.

– Доброго утра, Лев Александрович. Вы уж не обессудьте, но кипяток кончился, придётся вам самому за собой поухаживать.

– Доброго-доброго. А я все думал, чем же занять себя в это утро.

– Куда вы так газ кочегарите? – вскрикнула Фурманша, стоило мне повернуть ручку, – по миру нас пустить хотите или на воздух весь дом отправить?

– Хочу не умереть от отморожения и поскорее вскипятить воду. Прошу заметить, что мое здоровье как врача тоже стоит беречь. Иначе к кому вы, Евдоксия Ардалионовна, побежите со своим ревматизмом? А вы, Поплавский, с гастритом?

– А ваша корысть вам от предков досталась вместе с национальностью, или она есть плод нелёгкой судьбы?

– Знаете ли, всего понемногу. Ровно для того, чтобы такие, как вы, задавали мне подобные вопросы.

Чайник закипел, и по привычке я разбил в сковороду двойную порцию яиц, но опомнился, что Юрский так и не встал. Вскоре я вернулся к его двери.

– Марк Анатольевич, доброго утра! – ответа не последовало. Вместо этого до меня донёсся тихий сдавленный кашель. Профессор не запирался на ночь, поэтому я вошёл внутрь.

Сонный и ослабленный, он лежал на кровати поверх покрывала и тело его дрожало. Форточка была распахнута настежь, и в комнате было заметно холодно. Завидев меня, Юрский тут же попытался встать.

– Ах, Лев, это вы... То-то я думаю, почему мне снится, что вы меня зовёте, а потом молотком каким-то стучите прямо у самого уха.

– Вам нездоровится?

– Можно и так сказать. Во всем виновата моя оплошность. Засиделся за проверкой рефератов, потом передохнуть решил, открыл форточку, чтобы проветрить. Прилёг и, кажется, уснул. Вот и протянуло... у меня организм падкий на всякую гадость.

– Главное – не переживайте. Я посмотрю, что есть в аптечке, а вам пока требуется в тёплое одеться и хорошенько согреться. Там уже и чай на подходе, скоро принесу.

Пока я бегал из комнаты в комнату, из-за неплотно прикрытой двери на кухню доносились приглушенные звуки беседы:

– Максим Никифорович, вы не давите на меня, а то я совсем на вас обижусь.

– Я прошу прощения. Но, голубушка, верьте в мои самые добрые намерения! У меня уж совсем сердце кровью обливается, когда этот живодер про ваш ревматизм начинает говорить – все про возраст напоминает. Ещё скоро и до семьи доберётся! Но в чем-то правда есть, ведь так мучительно быть одинокой женщиной в наше-то время. Кто же, случись что, присмотрит за этими ценными картинами, за платками, за статуэтками? Иная ужаснётся от одной этой мысли, а у вас – подумайте только – есть я. Уже и нотариуса выписал – рекомендации у него хоть куда.

– Все же дайте мне время на раздумия. Я ещё не так дряхла, как этот Якубов меня рисует. Не будем гневить Бога своей излишней предусмотрительностью.

Будь по-вашему, но не бойтесь при надобности снова заговорить об этом. Подкручу-ка радио, а то тихо, как в Ленинской библиотеке.

Мне оставалось лишь мысленно хмыкнуть и вернуться к делам. Простуда Юрского не обещала быть серьезной. Температура высоко не поднималась, а к обеду, когда мне пора была собираться, и вовсе упала почти до нормы. Профессор почти потребовал, чтобы я шёл по своим делам и не носился с ним, как с бандурой. Я почувствовал облегчение, которое обычно доводится испытать с близким человеком, и обрадовался этому. Меньше всего мне хотелось, чтобы этому человеку было совсем худо.

«После обеда» Гуськова растянулось до четырёх часов дня, и к моменту его появления ни в какие гости я идти уже не хотел. Когда он наконец появился, его раскатистый бас, пожалуй, слышали даже в соседней квартире. Фурманша, как и всегда, приняла Жору благосклонно. Ей хорошо было известно, кем он работал, и – чему не стоило удивляться – из нас двоих без раздумий она выбрала бы обратиться к нему. Стоило мне посоветовать ей то или иное лекарство, она неизменно проверяла мои слова у него. Возможно, не теряла надежду уличить меня в невежестве и написать донос, поэтому с некоторых пор я сразу отправлял ее за советами на стандартный приём.

– Георгий Андреевич, давненько вас не видела. Совсем вы куда-то запропастились.

– Что поделать: работа, семья.

– Да-да, вот и супруга у него четвертого ждёт, – я вышел в коридор с этими словами, и Жора посмотрел на меня с плохо скрываемой злостью.

– Боже, какое счастье! – всплеснула руками Фурманша, – Георгий Иванович, пройдемте со мной, я Людмиле такие замечательные травы для чая передам. Беременным они все равно, что святая вода.

Пришлось прождать ещё около четверти часа, прежде чем мы наконец вышли на улицу. Я заметил, что Поплавский очень недобро смотрел Жоре вслед.

Погода снаружи совсем разыгралась, так что к концу пути мы были похожи на двух неказистых снеговиков. Вдобавок, меня хорошенько просквозило. Жора все это время что-то рассказывал про футбольный матч, который на днях смотрел по телевизору у соседей, про свои порванные ботинки, но слушал я невнимательно. На подходе к дому он вдруг выдал:

– Слушай, вот это у этой вашей Евдокии Орлеоновны хоромы! А главное – живет там одна, как барыня какая-то. Все мои бы в ее комнате поместились. Куда только государство смотрит? Живем при советах, а жилплощадь растрачиваем.

– Евдоксии Ардалионовны, – поправил я, – хорошо ещё, что ты при ней так не сказал. Да и не разглажь так огульно о государстве, пока мы не внутри.

– Твоя правда.

Вскоре мы были на месте. В темное время суток в местности, где жили Гуськовы, ходить не стоило. Пусть нас и разделяло несколько кварталов, но его район уползал ещё дальше от центра города. Здесь, как рои мух, тут и там клубились компании вызывающе одетых женщин и громких нетрезвых мужчин. Даже нам, двум крепким дядькам, иногда не хотелось лишней раз проходить мимо них. Работали не все фонари, большая часть дороги была погружена во тьму. У нужного нам подъезда стоял молодой парень. Невидящим взглядом он смотрел на землю и пыхтел сигаретой. Стоило нам подойти, он бросил окурок, затушил его ботинком и быстро пошагал вглубь пустой улицы.

Соседей у Жоры было много, все из них – члены той или иной неблагополучной семьи. Не считая Гуськовых, только в их квартире таких проживало три, и детей там было даже больше. Из-за каждой двери доносилась смесь не то детского смеха, не то плача. Я с трудом представлял, как старшие могли учиться в таком шуме.

Дверь нам открыла Люда. Сколько себя помнил, она всегда была улыбчива и радушна. За это, как говорил Жора, он ее и полюбил. Но сегодня улыбка ее казалась какой-то вымученной, будто прежде она успела выплакаться. Хотя, надо отдать ей должное, выглядела Люда празднично: завила светлые волосы в крупные кудри, подрумянилась, подкрасила ресницы, надела белое платье, а к нему янтарные бусы. Однажды я узнал от неё, что то было ее единственное, а, значит, самое дорогое украшение, привезённое из Прибалтики.

– Здравствуй, Лев. Сколько лет, сколько зим...

– Здравствуй, Люда. Замечательно выглядишь. Белый цвет тебе к лицу.

– Спасибо, дорогой. А вот Жоре вечно что-то не нравится. Я у него спросила: «Как тебе?», а он только буркнул что-то и не ответил.

– А я так буркнул, когда ты хотела алые губы намалевать. Сто раз говорил тебе: не пудрись, не мажься – лицо портится, как будто обман какой-то.

Люда ничего не сказала и молча провела нас к столу. Гуськов включил радио и попал на волну со старыми романсами. Видимо, он запереживал, что я подумаю о нем плохо, и через время добавил:

– Это тебе, Люда, ещё повезло со мной. У нас один проктолог знаешь, как говорит: «Нет женщин – есть рабочие и комсомолки, и внешний вид их должна регулировать партия». Про партию оно, может, и верно, но скажешь разве, что я тебя за женщину не считаю?

– Не скажу.

– Вот и оно. Про таких размалеванных в «Крокодиле» только и пишут. Срам один.

На небольшом обеденном столе Люда сумела уместить и два салата, и глубокую миску картофельного пюре, и даже бутылку кагора. Я понял, что успел хорошенько проголодаться, да и Жора уплетал за обе щеки. Какое-то время разговор наш строился вокруг того, как хороша была еда, и разбавлялся невинными и забавными воспоминаниями. И все же я чувствовал себя по-дурацки. Вся наша встреча была натянутой, как хлипкая струна, готовая в любой момент лопнуть. Когда-то эти дружеские сборы были в радость всем, кто на них появлялся, но не теперь.

– А что же, мы только втроём будем?

– Да, Сашка Головин сейчас от геморроя мается, Женя Егоров с женой разводится – не до посиделок ему.

То и дело возникали неловкие паузы, каждую из которых мы занимали увлечённым пережёвыванием пищи.

– Люда, а как твоё здоровье?

От моего вопроса она явно смутилась, и по ее глазам я понял, как должно быть глупо, вышло – ведь получалось, что я интересовался ее новым положением.

– В порядке... врач никаких замечаний не делал, говорит, патологий не видит. Тебе Жора уже рассказал, да...? Хотя... не стоило и сомневаться.

– Рассказал, все верно. Жора, а ты покажи Люде, что тебе Фурманша передавала.

– Что там?

– Да ничего, – Гуськов достал из кармана пальто тканевый мешочек и бросил его на стол перед Людой, – ересь одна, все равно в это не верю. Сказала чай тебе из этого заваривать, мол, беременным хорошо.

– Как же ты ещё согласился это взять? – вдруг съязвила она.

– Так не мне же это пить. А, глядишь, и обратный эффект выйдет, – последнюю фразу он сказал совсем тихо, но мы услышали. Жора подошел к форточке и раскурил сигарету.

– Что же ты такое говоришь?

– Говорю, Люда, как есть. Ты погляди только на ту же Евдоксию Орлеоновну – одна бабка, а метраж больше, чем на нас пятерых.

Ардалионовну, – встрял я.

– Один хрен!

– Шестерых, Гоша...

– Тем более! Куда ты шестого собираешься засунуть? В умывальнике пусть спит или ящик в комоде ему выделишь? А кормить его на что мы будем?

– Ты работаешь, я тоже копейку в дом приношу...

– Люда, проснись же! – Гуськов закипал на глазах, – Что нам твоя копейка? Она что ли новое стекло оплатит, которое Иван и Матвей разбили? Или прокормит нас на месяц?

– А если ещё один ребёнок, так вообще можно на улицу выселяться. Лёва, хоть ты скажи!

– Я сказала тебе – на аборт не пойду! Хоть убей, а я ни за что! – Люда начала плакать, и я уже не мог не вмешиваться.

– Жора, пойдёшь, остынь. Люда, давай я тебе воды налью. Вот так, пей, дыши ровно. Может, приляжешь?

Пока она укладывалась на кровать, он вышел в коридор. Чувства мои смешались, и ничего, кроме как уйти отсюда, я не желал. Мне было тошно от Гуськова, но жалость у меня проснулась к обоим. С одной стороны, Жора, на плечи которого уселась вся его семья и вечное бремя которого было всецело их обеспечивать; с другой, она – пугливая и уставшая женщина, которая боялась боли и смерти от аборта, а главное – осуждения больше, чем рождения ещё одного ребёнка. Я отправился на поиски Жоры и обнаружил его на лестничной клетке. Он докуривал вторую сигарету.

Прошу тебя, пойдём куда-нибудь. Мне тошно здесь находиться. Я готов быть кем угодно в твоих глазах сейчас, но твоё присутствие мне жизненно необходимо, иначе слечу с тормозов.

– Ты позвал меня сюда, чтобы я уговорил Люду на аборт?

– Нет... – он заметно стушевался, но потом решительно возразил, – хотя... ты думаешь, я что – врать тебе буду? Осел я в самом деле, если считаю, что ты мне поверишь! Пусть так, а ты бы как на моем месте поступил? От радости плясал?

Черта с два я в это поверю!

Мне не хотелось ничего ему отвечать, и около минуты мы молчали. Я давился сигаретным дымом, сдерживался, чтобы не закашляться и чувствовал, что меня морозит.

– Лев, как человека тебя прошу. Как единственного друга...

– Пёс с тобой, пойду.

Мы набросали для Люды короткую записку и двинулись. Время близилось к восьми вечера. Волею случая мы оказались в том же кабаке, куда чаще всего заходил Гуськов, – остальные места были закрыты. По выходным здесь обычно не наливали ничего крепче пива, но тот мог и им набраться, как следует. Зал был полупустой, контингент подобрался не самый приличный – от каждого стола нет-нет, да было слышно матерное слово, свист или хохот. Мы сели ближе к «сцене», где давеча стоял горластый «утомленный солнцем». Пока Жора опрокидывал первую кружку пива, от официанта я разузнал, что сегодня в репертуаре только военные романсы.

Вскоре кто-то один заявил во всеуслышание, что тоскливо совсем сидеть без музыки. Остальные тут же это подхватили и пару мгновений спустя все присутствующие требовали начала представления. Гуськов к тому моменту совсем поник, перед ним стояло две пустые кружки, пока я жевал холодный бутерброд с рыбой.

– Какое уж тут представление, братцы, – тихо причитал он, – тут уже занавес...

Самодельная «сцена» даже не была освещена, но в темноте было видно, как две темные фигуры с трудом и неприятным скрипом тащили что-то тяжелое. Затем

появилась третья, меньше предыдущих, фигура, которая осталась на месте. Когда наконец, мигая жёлтым разных оттенков, зажглось несколько ламп, все смогли рассмотреть сцену.

За чёрным маленьким пианино лицом к залу сидела кукла. Вернее, сперва она действительно показалась мне куклой, пока ее глаза, густо подведённые тушью и длинными стрелками, не обратились к нам, посетителям, внимательно оглядывая каждого. Она была одета в красное платье, притом привычного для обывателя кроя, но таким уж ярким оно было, что само могло осветить все заведение. На собранные волосы она нацепила какую-то громоздкую заколку, и стекло, вставленное в неё вместо камней, блекло переливалось в лучах ламп. Образ ее казался аляпистым, совсем не подходящим для военных романсов и инородным для самой девушки. Как раз про таких героинь «Крокодила» всегда шутил Жора. Я испытал раздражение, понимая, что это нелепое создание собиралось петь о великих вещах.

Раз-другой мне случалось видеть ее в этом месте, когда я приходил к Гуськову, но тогда она была лишь белым шумом, не более. Я даже к ней не присматривался. Теперь мне вдруг показалось, что я оглох, потому что зал смолк. Даже среди самых шумных не нашлось того, кто решился бы что-то выкрикнуть. Все сидели, разинув рот и с замиранием сердца ожидая, когда это таинственное создание заиграет и выведет их из транса. Скорее всего, запой она «Мурку», они бы приняли и это с восторгом.

Выжидая, она закусила нижнюю губу, выкрашенную в цвет платья, и, стоило ей взять первые аккорды романса «Нам нужна одна победа», все затаили дыхание – мы ждали слов. А когда девушка запела, не знаю, что случилось, но люди превратились в единый голос. И я, и поникший Жора, и даже проснувшиеся пьяницы – все подхватили песню. В тот же момент мне стало безразлично – хоть даже она вырядилась бы в перья, я знал, что фразу: «Десятый наш десантный батальон» допою до конца. Незнакомка с силой давила на клавиши, брови нахмурились, голосом она твёрдо отделяла каждое слово. Я почувствовал что-то мокрое на щеке и сразу вытер ее ладонью.

Кінець ознайомительного фрагмента.

Купити: https://tellnovel.com/leonenko_polina/blagodetel-i-ubiyca

надано

Прочитайте цю книгу цілком, купивши повну легальну версію: [Купити](#)